



Первая любовь

РАССКАЗЫ

Первая любовь

Мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, и земля не казалась нам жесткой, холодной и сырой, какой была на самом деле.

Мы встречались уже полгода — с тех пор, как она прибыла в наш полк. Мне было девятнадцать, а ей — восемнадцать лет.

БОГОМОЛОВ Владимир Осипович, известный советский и российский писатель и публицист, родился 3 июля 1926 (по другим данным 1924) в небольшой деревне Кирилловка, под Москвой. Учился в московской школе. В начале Великой Отечественной войны ушел на фронт. Был курсантом воздушно-десантной школы, командиром отделения разведки, получил ранения. Участвовал в освобождении Польши, в боевых действиях в Восточной Пруссии и Германии. В 1949 был уволен из армии в звании лейтенанта контрразведки. В 1952–1954 годах обучался на специальности «Русская литература» в МГУ. В 1958 году пишет повесть «Иван», по которой позже режиссер А. Тарковский снял фильм «Иваново детство». В 1965 году публикует повесть «Зося», которую экранизировал Михаил Богин. В 1974 г. из-под пера Богомоллова выходит роман «В августе сорок четвертого...» («Момент истины»), принесший писателю огромную популярность, роман экранизирован в 1975 г. (2 серии, режиссёр В. Жалакявичюс, фильм не был закончен), и в 2000 г. («В августе 44-го...», режиссёр М. Пташук). Писатель всегда отказывался от всех премий и наград, выступлений и от членства в Союзе писателей. Снимал свое имя в титрах кинофильмов. В 1975 году он потребовал снять свою кандидатуру из числа соискателей Госпремии СССР. В 1967 г. был награждён орденом «Знак Почёта» за сценарии к фильмам «Зося» и «Иваново детство» (от награды отказался). В 1984 году награждён орденом Трудового Красного Знамени (от присутствия на вручении отказался). В 2001 году награждён премией «Новой газеты» им. А. Синявского «За достойное творческое поведение в литературе» (от вручения отказался). В 2001 г. Богомоллову присуждена премия имени разведчика Н. Кузнецова (от денежного содержания премии отказался). В 2003 году награждён дипломом и медалью ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую литературу» за «гуманизацию жестокого военного ремесла». Скончался в 2003 г. в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Мы встречались тайком: командир роты и санитарка. И никто не знал о нашей любви и о том, что нас уже трое...

— Я чувствую, это мальчик! — шепотом в десятый раз уверяла она. Ей страшно хотелось мне угодить: — И весь в тебя!

— В крайнем случае согласен и на девочку. И пусть будет похожа на тебя! — думая совсем о другом, прошептал я.

Метрах в пятистах впереди, в блиндажах и прямо в окопах, спали бойцы и сержанты моей роты. Еще дальше, за линией боевого охранения, освещаемой редкими вспышками немецких ракет, затаилась скрытая темнотой высота 162.

На рассвете моей роте предстояло совершить то, что неделю назад не смогла сделать рота штрафников — захватить высоту. Об этом в батальоне пока знали только пятеро офицеров, те, кого вечером вызвал в штабную землянку майор, командир полка. Ознакомив нас с приказом, он повторил мне:

— ...Значит, помни: сыграют «катюши», зеленые ракеты, и ты пойдешь... Соседи тоже поднимутся, но высоту будешь брать ты!

...Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и, целуя ее, я не мог не думать о предстоящем бое. Но еще более меня волновала ее судьба, и я мучительно соображал: что же делать?

— ...Я должна теперь спать за двоих, — меж тем шептала она окающим певучим говорком. — Знаешь, по ночам мне часто кажется, что наступит утро, и все это кончится. И окопы, и кровь, и смерть... Третий год уже — ведь не может же она продолжаться вечно?.. Представляешь: утро, всходит солнышко, а войны нет, совсем нет...

— Я пойду сейчас к майору! — Высвободив руку из-под ее головы, я решительно поднялся: — Я ему все расскажу, все! Пусть тебя отправят домой. Сегодня же!

— Да ты что? — привстав, она поймала меня за рукав и с силой притянула к себе. — Ложись!.. Ну какой же ты дурень!.. Да майор с тебя шкуру спустит! — И, подражая низкому, грубоватому голосу командира полка, натужным шепотом медленно забасила:

— Сожительство с подчиненными не повышает боеспособность части, а командиры теряют авторитет. Узнаю — выгоню любого! С такой характеристикой, что и на порядочную гауптвахту не примут... Выиграйте войну и любите кого хотите и сколько хотите. А сейчас — запрещаю!..

Голос у нее сорвался, а она, довольная, откинулась навзничь и смеялась беззвучно, — чтобы нас не услышали.

Да, я знал, что мне не поздоровится. Майор был человеком самых строгих правил, убежденным, что на войне женщинам не место, а любви — тем более.

— А я все равно к нему пойду!

— Тихо! — Она прижалась лицом к моей щеке и после небольшой паузы, вздохнув, зашептала: — Я все сделаю сама! Я уже продумала. Отцом ребенка будешь не ты!

— Не я?! — Меня бросило в жар. — То есть как не я?

— Ну какой же ты глупыш! — весело удивилась она. — Нет, не дай бог, чтобы он был похож на тебя!.. Понимаешь, в документах и вообще отцом будешь ты. А сейчас я скажу на другого!

Она была так по-детски простодушна и правдива, что подобная хитрость поразилась меня.

— На кого же ты скажешь?

— На кого-нибудь из убывших. Ну, хотя бы на Байкова.

— Нет, убитых не трогай.

— Тогда... на Киндяева.

Старшина Киндяев, красивый беспутный малый, был выпивоха и вор, отправленный недавно в штрафную.

Растроганный, я откинул полу шинели и рывком привлек ее к себе.

— Тихо! — Она испуганно уперлась кулачками мне в грудь. — Ты раздавишь нас! (Она уже начала говорить о себе во множественном числе и по-ребячьи радовалась при этом.) Глупыш ты мой!.. Нет, это твое счастье, что ты меня встретил. Со мной не пропадешь!

Она смеялась задорно и беззаботно, а мне было совсем не до смеха.

— Слушай, ты должна пойти к майору сейчас же!

— Ночью?.. Да ты что?!

— Я тебя провожу! Объяснишь ему и скажи, что тебе плохо, что ты больше не можешь!

— Но это ж неправда!

— Я прошу тебя!.. Как ты будешь?.. Ты должна уехать! Ты пойми... а вдруг...

А если завтра в бой?

— В бой? — Она вмиг насторожилась, очевидно все поняв. — Нет, это правда?

— Да.

Некоторое время она лежала молча. По ее дыханию — такому знакомому — я почувствовал, что она взволнована.

— Что ж... от боев не бегают. Да и не убежишь... Все равно, пока меня комиссуют и будет приказ по дивизии, пройдет несколько дней... Я пойду к майору завтра же. Решено?

Я молчал, силясь что-либо придумать и не зная, что ей сказать.

— Думаешь, мне легко к нему идти? — вдруг прошептала она. — Да легче умереть!.. Сколько раз он мне говорил: «Смотри, будь умницей!»... А я... А еще комсомолка...

Всклипнув, она отвернулась и, уткнув лицо в рукав шинели, вся сотрясаясь, беззвучно заплакала. Я с силой обнял ее и молча целовал маленькие губы, лоб, соленые от слез глаза.

— Пусти, я пойду, — отстраняя меня, еле слышно вымолвила она. — Ты проводишь?..

...Мы спускались в темную, сырую балку, где помещался батальонный медпункт, и я поддерживал ее сзади за талию, чуть начавшую полнеть. Я поддерживал ее обеими руками, страховал каждый ее шаг. Чтобы она не оступилась, не скользнула, не упала. Словно я мог уберечь ее, оградить от войны, от боя на заре, где ей предстояло бегать, падать и перетаскивать на себе раненых...

С тех пор прошло пятнадцать лет, но я помню все так, будто это было вчера.

На рассвете сыграли «катюши», неистово били минометы и дивизионная артиллерия, взлетели зеленые ракеты...

А когда взошло солнце, я с остатками роты ворвался на высоту. Спустя полчаса в немецкой добротной траншее командир полка и еще кто-то, поздравляя, обнимали меня и жали мне руки. А я стоял, как столб, как пень, ничего не чувствуя, не видя и не слыша.

Солнце... если б я мог загнать его назад, за горизонт! Если б я мог вернуть рассвет!.. Ведь всего два часа назад нас было трое...

Но оно поднималось медленно, неумолимо, я стоял на высоте, а она... она осталась там, позади, где уже лазали бойцы похоронной команды...

И никто, никто и не подозревал, кем она была для меня и что нас было трое...

Второй сорт

Он приезжает с некоторым опозданием, когда гости уже в сборе и виновница торжества, его двоюродная племянница, то и дело поглядывает на часы.

Моложавый, с крупной серебристой головой и выразительным, энергичным лицом, он, войдя в комнату и радушно улыбаясь, здоровается общим полупоклоном, представительный, почтенный и привычный к вниманию окружающих.

Для хозяев он — дядя Сережа, или просто Сережа, а для гостей — Сергей Васильевич, и все уже знают, что он писатель, человек известный и уважаемый.

И подарок привезен им особенный: чашка с блюдцем из сервиза, которым многие годы лично пользовался и незадолго до смерти передал ему сам Горький. Эту, можно сказать, музейную ценность сразу же устанавливают на верхней полке серванта за толстым стеклом, на видном, почетном месте.

Сажают Сергея Васильевича рядом с именинницей во главе стола и ухаживают, угощают наперебой; впрочем, он почти от всего отказывается. Наверно, только из вежливости потыкал вилкой в горстку салата на своей тарелке, да еще за вечер — с большими перерывами — выпивает рюмки три коньяку, закусывая лимончиком.

Он, должно быть, тяготится этой вынужденной ролью свадебного генерала, но виду не подает. Зная себе цену, держится с достоинством, однако просто и мило: улыбается, охотно поддерживает разговор и даже пошучивает.

А на другом конце стола не сводит с него глаз будущий филолог, студент первого курса, застенчивый белобрысый паренек из глухой вологодской деревушки.

В Москве он лишь второй месяц и, охваченный жаждой познания, ненасытно вбирает столичные впечатления, способный без усталости целыми днями слушать и наблюдать. Попал он на именины случайно, и, увидев впервые в своей жизни живого писателя, забыв о роскошном столе, о вине и закусках, забыв обо всем, ловит каждое его слово, и улыбку, и жест, смотрит с напряженным вниманием, восхищением и любовью.

По просьбе молодежи Сергей Васильевич негромко и неторопливо рассказывает о встречах с Горьким, о столь памятных сокровенных чаепитиях, под конец замечая с болью в голосе:

— Плох был уже тогда Алексей Максимович, совсем плох...

И печально глядит поверх голов на полку серванта, где покоится за стеклом горьковская чашка, и задумывается отрешенно, словно смотрит в те далекие, уже ставшие историей годы, вспоминает и воочию видит великого коллегу.

Окружающие сочувственно молчат, и в тишине совсем некстати, поперхнувшись от волнения, сдавленно кашляет будущий филолог.

Когда начинают танцевать, он после некоторых колебаний, поправив короткий поношенный пиджачок и порядком робея, подходит к Сергею Васильевичу и, достав новенький блокнот, окая сильнее обычного и чуть запинаясь, неуверенно просит автограф.

Вынув толстую с золотым пером ручку, тот привычно выводит свою фамилию — легко, разборчиво и красиво — на листке, где уже имеется редкий автограф: экзотиче-

ская, непонятно замысловатая роспись Тони, африканского царька, а ныне — студента-первогодка в университете Лумумбы.

Уезжает Сергей Васильевич раньше всех. Его было уговаривают остаться еще хоть немного, но он не может («Делу — время, потехе — час... Да и шоферу пора на отдых...»), и, услышав это с огорчением, более не настаивают. Прощаясь, он дружески треплет вологодского паренька по плечу, целует именинницу и ее мать, остальным же, устало улыбаясь, делает мягкий приветственный жест поднятой вверх рукой.

Он уходит, и сразу становится как-то обыденно.

А в конце вечера будущий филолог, находясь всецело под впечатлением этой необычной и радостной для него встречи, стоит у серванта, зачарованно уставясь на горьковскую чашку. Толстое стекло сдвинуто, и она, доступная сейчас не только глазам, манит его как ребенка — страшно хочется хотя бы дотронуться. Наконец, не в силах более удерживаться, он с волнением, осторожно, как реликвию, обеими руками приподнимает ее. С благоговением рассматривая, машинально переворачивает и на тыльной стороне донышка видит бледно-голубоватую фабричную марку:

Дулево

2 с. — 51 г.

«Дулево... Второй сорт... 51-й год...» — мысленно повторяет он, в растерянности соображает, что Горький умер на пятнадцать лет раньше, и вдруг, пораженный в самое сердце, весь заливается краской и, расстроенный буквально до слез, тихо, беспомощно всхлипывает и готов от стыда провалиться сквозь землю — будто и сам в чем-то виноват.

...Дурная это привычка — заглядывать куда не просят. Дурная и никчемная...